

---

---

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Институт восточных рукописей

---

---

# MONGOLICA-XIII

Сборник научных статей по монголоведению  
Посвящается 235-летию со дня рождения И. Я. Шмидта (1779—1847)

---

---

St. Petersburg  
2014

---

---

## Из дневниковой тетради М. И. Клягиной-Кондратьевой за время начала Великой Отечественной войны (1941 год) (Подготовка к публикации К. Н. Яцковской)

Из переданных мне тетрадей Мелитины Ивановны — опубликованных Дневников монгольских экспедиций было три. Четвёртая, общая тетрадь в 96 листов, была заполнена записями, в основном датированными 1941 г. Это свидетельства очевидца, человека своего времени. Воспоминания молодости. Этнографические зарисовки. Записи поверий, преданий, упоминания сказок, поведенных няней, другими жителями Орловщины, где в родительских поместьях Болхове и Войнове прошли детство и юность. Памятная поездка с мамой в Париж в самый канун Первой мировой войны. Рассказы о заметных и не очень фигурах послереволюционного времени, в их числе о Ларисе Рейснер. Повторен один волнующий эпизод времен Хангайской экспедиции в Монголии... Словом, по нахлынувшем в трудное время первого года Великой Отечественной войны воспоминаниям можно судить о сакральном отношении Мелитины Ивановны к дорогому прошлому как к оберегу. Думается, сейчас вполне уместно познакомиться с отдельными страницами из не опубликованной ранее тетради. В записях, оставленных Мелитиной Ивановной, продолжает существовать реальность давних минувших лет, подлинные чувства, вызванные в начале прошлого века сломом эпохи, они позволяют ощутить уход прежней цивилизации. В них раскрывается собственная, очень человеческая личность автора. В публикации текстов из этой тетради сохранены стиль и пунктуация автора.

Первые листы рукописного текста публикуемых ниже фрагментов из общей тетради содержат краткие высказывания отдельных известных личностей, или кого-то из близкого окружения, или знакомых.

### 1941 г.

Из Goncourt'ов о молодости мира: пусть 27 столетних стариков станут один за другим и вот уже Гомеровы времена.

«Чем больше я вижу людей, тем больше люблю лошадей». Не знаю, кто это сказал. Тоже правильно.

В 19-м году тамбовские бабы просили мешочников привозить им не ситец и прочие ткани, а «тень на палочке, да чтобы белую, а простые-то у нас есть» [зонтик] [с. 5].

В Болхове на Пасху все старались позвонить в колокола: хорошо для здоровья, весь год голова не будет болеть.

«Нет нужды отречься от мира и наслаждения, но надо знать, что мир — это мираж, а всякое наслаждение иллюзорно» (Панчадаси).

Сны. Ф. (Фёдор, брат Мелитины Ивановны. — К. Я.) видел, будто все кремлевские соборы вдруг снялись со своих мест, стали на трамвайные рельсы и, упершись крестами в провода, медленно покатали вон из Москвы.

Я видела, будто сижу в поле и смотрю, как Аннушка, сноха Марьи [нрзб], жнет рожь. Взяла серп и я, но вот беда: как ни взмахну серпом, вместо колосьев оказываются ящики с брошюрами, как у нас в Музее. Я и так и этак подхожу, вокруг колосьев, Аннушка жнет, но стоит мне захватить их серпом — опять ящики [с. 6—7].

1920 г.

Войновские девушки в праздник надевали поверх свиток широкие ленты, цветные, а на груди к ним пришивали крошечный крестик. К углам пришивали «косники» — шерстяные кисти. В косы тоже вплетали ленту с «косником». Поверх свит и полушубков носили яркие, пестрые шерстяные опояски. Барилловские бабы, ходившие во всем домотканом, повязывали головы не платками, а холстиной своей работы, с красной расцветкой [с. 8].

Среди раскольников долго сохранялись мастера-переписчики священных книг. Такой может писать по уставу, полууставом, скорописью такого-то века, изощренным молдавским письмом и т. д. В рукописном отделении Ленинской библиотеки есть несколько книг, заказанных таким мастерам. Переписчик в конце, как полагается, ставит свое имя и время переписки: «Писал Иван Гаврилович Блинов, крестьянин Костромской губернии, Городецкого уезда, деревни (не помню) в лето от сотворения мира 7426, в правление Советской власти большевиков».

Этот И. Г. Блинов был замечательным мастером. Научился от отца — переписчика средней руки, — быстро получил известность. Заказчиками его были любители, антиквары и аферисты (последние для мошеннических сделок). Один из сотрудников Публичной библиотеки, увидев однажды в Ветлужском уезде несколько работ Блинова, принял их за подлинные древние рукописи и даже описал в одном научном издании. Хранитель Рукописного отд. Ле-

нинской биб-ки Г. П. Георгиевский как-то заказал Блинову большую работу за 600 р. Кончив работу, переписчик приехал в Москву и показал ее знакомому. Бывший при этом кн. Ширинский-Шихматов (любитель) вынул 600 р. И упробил Блинова отдать рукопись ему. Иван Гаврилович был человек талантливый, но слабый. Рукопись он продал князю, но не посмел показаться на глаза Георгиевскому, а, взявши деньги, пошел и напился. Дня через три его нашли обобранного под забором. После этого он перестал писать. Да и заказов больше не было — время подошло голодное. Блинов поступил куда-то на станцию буфетчиком. Здесь его потом разыскали и наняли расписывать антирелигиозные плакаты, что он и делал весьма искусно, украшая их орнаментами в старинном вкусе и выводя надписи вязью, уставом и полууставом [с. 14—16].

Вывески и надписи в витринах:

Вегетарианская столовая «Примиришь». (Была на Мясницкой)

В мануфакт. магаз: «Баядерка двойной ширины» (ткань)

В окне сломанные граммофоны. Надпись: «Починяю музыку»

В Козицком переулке был магазин подержанных платьев с вывеской: «Дамские туалеты покупаю и продаю». В революцию хозяин переделал ее: вместо двух последних слов написал: «починяю и переделываю». Но пожалел краски: обе буквы «п» остались и торчали темные, потертые рядом со свежими желтыми «очиняю» и «еределываю».

(о примирении) «За неимением гербовой пишут на простой» [что мне не раз приходилось делать в жизни].

Не годы старят — горе [с. 16—17].

В 1918 г., когда настала для меня необходимость поступить на службу, я, не зная с чего начать, взялась за учебник «коммерческой корреспонденции». Дядя Коля, весь свой век прослуживший в банке, одобряя мое начинание, сказал: «Если ты, Милочка, хочешь посвятить себя конторской деятельности...» — эти слова как обухом ударили бедную «Милочку», у которой голова была набита мечтами о «чудесных странах», путешествиях, любви к прекрасному принцу и прочей весьма разнообразной романтикой. К счастью, жизнь оказалась милостивой. Из «конторской деятельности» ничего не вышло, а из романтики все-таки кое-что вышло, и даже немало [с. 18].

1941

В Болхове, когда девушку просватывали, ее подруги ходили по улицам и били в медные тазы — оповещали [с. 23].

В начале революции слышались такие фразы: «Господин-товарищ, явите божескую милость». «Товарищ-барышня, позвольте вас проводить» [с. 24].

Монашка Настя рассказывала, как 17 лет служила при монастырской кухне под началом матери Арсени-экономки. Их работало семеро [нрзб] послушниц, все молодые, веселые, дружные. Порой они выбегали на задний дворик, бегали, смеялись, потом снова работали до потери сознания. Питались хорошо, но работа отнимала все силы.

Как-то раз заливное, которое готовили к Пасхе, все ушло сквозь дырявые салфетки. Что было! Мать Арсения бросила на пол таз, который держала в руках, сорвала с себя апостольник и стала рвать на себе волосы. Послушницы разбежались кто куда, а Настя помертвела и с тех пор осталась не совсем здоровой <...>. Собравшись с духом, все во главе с матерью Арсенией побежали к рыбнику Калганову, бросились ему в ноги и выпросили у него рыбы. Драма, памятная на всю жизнь [с. 25].

Удивительно, что самые добрые и благородные люди, не способные и пальцем тронуть, не говоря уже о том, чтобы ударить, скажем, свою мать или другого близкого человека, без всяких угрызений совести причиняют самым любимым и близким людям жесточайшие душевные страдания.

Почему? [с. 26].

Народные гадания и заговоры для культурного человека представляют интерес лишь как объекты этнографического изучения. Верить в них смешно. Не верю и я, но вот несколько случаев, которые можно, если угодно, назвать «совпадениями».

Гадания. 1). Дни октябрьской революции мы — родители и я — провели в деревне, куда уехали в конце сентября. А Федя, учившийся в университете на I курсе, остался в Москве с няней Татьяной. Когда началась революция, всякое сообщение с Москвой было отрезано на несколько дней, а слухи до нас доходили самые страшные (и конечно преувеличенные). Родители мои волновались за Федю. Как-то раз пришла портниха Лиза и кто-то попросил ее погадать. Она раскинула карты и сказала, что Федя здоров и невредим. С ним живет один человек. Вскоре от Феде пришла телеграмма, и мы тотчас уехали в Москву. Оказалось, что к нему в первый день революции зашел один знакомый родителей, старый холостяк, и уже не решился уйти, так как на улицах началась стрельба. Так и прожили они вместе безвыходно несколько дней.

2) Однажды на святках Настя, Соф. Ник. и я — все три молодые девушки, пошли на двор «искать денюгу», которую няня спрятала. Первой нашла я, и я же впоследствии первой вышла замуж. 3) На святках 1922—(23 г.) т. е. когда мы с С. (Сергей Кондратьев. — К. Я.) уже полюбили друг друга, но еще неизвестно было, буду ли я его женой, я по наставлению няни (обожавшей до старости святочные гадания) построила под кроватью мостик из спичек и положила под подушку четырех карточных королей (рубашками вверх) загадав, что трефовый король это С. Ложась спать, я сказала, как полагается: «Суженый-

ряженный, приходи, меня через мост переведи». И действительно увидела во сне речку, мост и кого-то очень похожего на С., кто перешел ко мне через этот мост и повел обратно. Проснувшись, я сунула руку под подушку и вытащила трефового короля. В тот год, летом 1923 г., я вышла замуж за С. 4) Через 5 лет, летом 1928 года, мы путешествовали по Хангаю, в Монголии. С. решил взойти на вершину горы Отхон-Тэнгри, на которой не был ни один европеец, а м. б. и никто. Мы стали лагерем километрах в 12-ти от горы, выбрав для стоянки одну небольшую скалистую падь. Палатки наши стояли под самым перевалом, очень крутым и высоким. Он почти весь был покрыт огромными камнями, только наверху мелкой осыпью. Утром 14 августа С. ушел вместе с Ф. Большаковым <...> Я осталась «на таборе» вместе с Лобсаном (Лобсан (Лубсан) — монгольский помощник, знаток фольклора, информант С. А. Кондратьева как певец и исполнитель народных песен. — К. Я.).

Это был тяжелый день для меня. Я непрерывно волновалась за С. Чтобы как-то умиловать судьбу, я решила весь день ничего не есть и дотемна лазила по скалам, собирала растения и лишь изредка возвращалась в майхан отдохнуть и выпить чаю. Лобсан отнесся с большим уважением к моему жертвенному посту. Это нашло отклик в его азиатской душе. Настал вечер. Я уложила собранные растения и села у входа в майхан. Тускло горел крошечный костерчик (в пади не было ни кустика, и костер сложили не то из аргала, не то из привезенных с собой дров, не помню). Тревога моя все возрастала. Я напряженно всматривалась в темный перевал. Вслушивалась в тишину. Изредка с перевала сыпались камни. Я вскакивала и бежала к нему, но никто не приходил. Наконец я попросила Лобсана погадать мне. Он охотно согласился. Вынул из своего гайтана 2—3 бумажные иконки с изображениями буддийских божеств и расставил их, прислонив к суме. Бросил в костерчик немного арца (засушенного можжевельника). Потом достал чистую баранью лопатку (очевидно, заранее запасенную для гадания) и с молитвой или заклинанием бросил ее в костер. Когда она слегка обуглилась, он вынул ее и стал пристально рассматривать испещрившие ее черные трещины. Никогда я не забуду этого темного лица с маленькими хитрыми глазами, теперь сосредоточенного и внимательного, склоненного над лопаткой и розовеющего в отвесах костра. Я напряженно ждала. Наконец он сказал, что все благополучно, путники уже были на вершине, теперь спустились и в лагерь придут завтра. (Уходя, С. говорил, что, вероятно, они вернутся сегодня же вечером). Поверила ли я Лобсану? Нет. Ведь я не верю в гадание. Однако все сбылось в точности. На другой день утром я после бессонной ночи, во время которой размышляла о «равнодушии» природы к человеку, усилился шум камней (так!), сыпавшихся с перевала, и, выбежав из палатки, увидела С. и спутников его, спускавшихся к лагерю. Оказалось, что вчера в час гадания они дей-

ствительно находились уже у подножья Отхон-Тэнгри, после того как С. и Большаков успешно взойшли на вершину [с. 38—42].

В 1938 и 1939 летом мы с С. жили в дер. Ванюнькино Удомлинского района Калининской обл. (бывш. Тверской губ. Вышневолоцкого у.). Деревня стояла на берегу большого продолговатого озера Удомли. Эта местность связана с именами двух замечательных русских пейзажистов и послужила материалом для ряда их картин. Один из этих художников, П. К. Беляницкий-Бирюля, много лет владел дачей «Чайка», построенной на берегу этого озера, и подолгу живет в ней. (Между прочим, когда началось колхозное движение, крестьяне дер. Ванюнькино, лежащей в версте от дачи, пожелали назвать свой колхоз «Чайкой» — название довольно необычное для колхоза). Верстах в 8-ми отсюда находится оз. Островно. На его берегу была расположена усадьба помещиков [нрзб], где не раз гостил Левитан, который сначала имел роман с хозяйкой имения, а потом с ее дочерью. Однажды, доведенный до иступления обеими женщинами, он стрелялся, но неудачно (или лучше сказать — удачно? Хотя бы для русской живописи) и тогда вызвал к себе Чехова как врача и друга. Чехов потом использовал некоторые свои впечатления от этой поездки в пьесе «Чайка» (усадьба на озере, стрелявшийся человек срывает у себя с головы черную повязку и др.). Однажды я дожидалась, пока откроют кооперативную лавку. Подъехал старик с возом. Мы разговорились и, узнав, что старик из Островно, я спросила, помнит ли он Левитана. «Как же помню. Такой черный. Я тогда еще молодой был». Потом, помолчав, добавил: «Наша барыня с ним „знакома“ была. Бывало, барин уедет в Москву, она сейчас телеграмму Левитану. Он и придет. Пройдет сколько-нибудь времени, барин шлет телеграмму: „прислать за мной тройку на Удомлю“; на той же тройке Левитан уезжает».

На «Чайке» каждое лето гостит довольно многочисленное общество, б. ч. имеющие то или иное отношение к искусству. Оно ловит рыбу, играет в теннис и в винт, купается, гуляет, иногда кутит. Мы бывали там очень часто, но жили, как я уже говорила, в Ванюнькине у бабушки Агафьи. Эта очаровательная женщина стоит того, чтобы рассказать о ней когда-нибудь [с. 55—56].

Мой свекор Александр Александрович Кондратьев, старший астроном и ученый секретарь Пулковской обсерватории, в молодости обладал хорошим голосом, был очень музыкален и часто пел в домашней обстановке вместе с родными и друзьями. Любил он также и церковное пение. Ходил по субботам и воскресеньям в церковь с. Пулково и там иногда в торжественные дни пел на клиросе. Одно время в этой церкви служил дьякон Заозерский, тоже человек музыкальный, одаренный неплохим голосом, но горький пьяница. А. А. решил помочь ему отучиться от пьянства таким путем: он стал привлекать дьякона к участию в домашних концертах, заинтересовал его пением светским — романсами — и одновре-

менно убедил, что водка очень плохо влияет на голос. В этом ему деятельно помогала свояченица Мар. Степ. Аренская (сестра композитора А. С. Аренского. — К. Я.) и другой астроном Мих. Ник. Морин, которые также много занимались музыкой. Дьякон пристрастился к светскому пению и бросил пить. И он был так благодарен людям, столь благотворно повлиявшим на него, что исходатайствовал разрешение на перемену своей фамилии — именно вместо Заозерского сделался Камозерским — взяв для своей новой фамилии первые буквы фамилий спасших его друзей (Кондратьев, Аренская, Морин) [с. 60].

У А. Ф. Кони, замечательного человека и, пожалуй, последнего гуманиста, в его воспоминаниях о Чехове приведена одна раскольничья песня:

— Смерть, а смерть, это ты? —

«Это я, это я!»

— А откуда ты пришла? —

«Где была, где была!»

— А пришла ты не за мной? —

«За тобой, за тобой!»

— А уйдем мы далеко? —

«Далеко, далеко!»

Мне это представляется одним из самых высоких, при всей его простоте, художественных произведений, посвященных смерти [с. 72].

В Болхове, когда в году 20-м стали закрывать церкви и распределять церковное имущество, питомцев детдома одели в платья, штаны и рубашки из риз и ряс. Так они и ходили в парче и шелках с крестами, пока из Москвы не приехала представительница наробраза (или какого-то другого учреждения) и не навела порядок [с. 89].

Недавно прочла в газетах о постановке оперы Шапорина «Декабристы». По ассоциации с женами декабристов мне вспомнилась одна история, случившаяся в наше время.

В 1927 г. у одной женщины арестовали мужа — за что не знаю, да и не в этом дело. Ей было лет 40, ему немногим больше 30-ти; они жили вместе уже 10 лет и — очень счастливо. О ней, по крайней мере, я знаю наверное, что она страстно любила мужа. Арестованного отправили в Москву (все случилось на периферии), и жена немедленно поехала за ним. В Москве она жила кое-как, ютилась по знакомым и все свои силы отдавала на «хлопоты». Она перевернула небо и землю и добилась того, что ее стал принимать следователь, который вел дело ее мужа. Не знаю, о чем они говорили, но, видимо, она сумела привести важные аргументы в пользу обвиняемого, т. к. во время последнего приема следователь сказал, что «высшая мера», грозившая ее мужу, заменена 8-ю годами лагеря, разрешил ей свидание и добавил: «Можете сказать своему мужу, что он Вам обязан жизнью».

Потянулись 8 лет. Собственно, меньше, т. к. он был освобожден досрочно, примерно на год. Все эти годы она жила только мыслью о нем. Она поступила

на работу, посылала ему посылки, деньги, письма. Каждый год ездила к нему недели на 2. (Несомненно, она уехала бы к нему совсем, как «жена декабриста», если бы могла). Эта ее помощь имела для него, по его же словам, величайшее значение. Через несколько лет он занял какую-то руководящую должность на тамошней стройке и даже получил разрешение жить в частной квартире. Жена радовалась, зная, что он крепок, бодр телом и духом, и с нетерпением, но теперь уже спокойно, ждала его освобождения, строя планы, как они будут жить, куда уедут и т. д. Но из последней поездки к нему она вернулась очень удрученная. По каким-то признакам она догадалась, что он полюбил одну бывшую заключенную, тоже немолодую женщину (с замужней дочерью). <...> Вдруг она почувствовала, что любовь его перешла на другую женщину, но все еще не хотела верить своему несчастью.

Через несколько месяцев его освобождения вчистую он приехал. Очень здоровый, с грамотой ударника Беломорканала, получил паспорт и начал делать шаги, чтобы поступить на работу. Жена в то время работала под Москвой, но совсем близко, в 20-ти минутах езды. Муж приехал к ней, но сказал, что не останется: он остановился в Москве, т. к. это ему удобнее для его дел. Это первое свободное свидание увеличило ее [нрзб] предчувствия. Ничего существенного не было сказано, но ясно было, что дело неладно. Дня через 2 он приехал опять на очень короткое время и сказал, что приедет завтра и останется у нее. Не приехал. Не приехал и на другой день. На третий она, вернувшись с работы, нашла у себя на столе открытку из Загса, извещавшую ее о том, что она разведена с таким-то, своим бывшим мужем, по его заявлению. Это был удар, сразивший ее. Она бросила работу, перестала умываться, причесываться, спала не раздеваясь и ела только, если сердобольная хозяйка приносила ей что-нибудь и уговаривала поесть. В каком-то отупении шли дни. Примерно недели через 2 она получила от него письмо, в котором ровно ничего не говорилось о случившемся. Письмо состояло из неопределенных и очень туманных фраз, и понять в нем можно было только то, что он уезжает работать в провинцию и адрес свой сообщит одним знакомым. Письмо заканчивалось советом жене читать Пушкина. Ни слова о том, что было самым важным. В нем не было ни о разводе, ни об их отношениях, ни о его отношениях с другой женщиной. Ничего. Жену особенно оскорбило то, что она получила извещение о разводе из Загса. Ну приди, поговори, объясни, а это — удар в спину. <...>

Получив ничего не объяснявшее и отнюдь не утешавшее письмо, она решила, что не пойдет к указанному знакомым и не будет узнавать адреса [с. 100—104].

Покойная Лариса Рейснер, ездившая в Афганистан, рассказывала о некоторых мелочах тамошнего придворного быта. В то время эмиром там был Аманулла, желавший внедрить в свою страну европей-

ское просвещение, и новые порядки проявлялись иногда довольно своеобразно. Так, придворные дамы выезжали на придворные балы не только с открытым лицом, но и в бальных платьях без рукавов и с большим вырезом — платьях, выписанных от лучших парижских портних. Но в кабульском дворце было холодно, из всех щелей дуло (европейский комфорт еще не успел его коснуться), и бедные афганские красавицы, чтобы не простудиться, надевали под свои шелковые и кружевные платья вязаные шерстяные фуфайки, рукава и вороты которых довольно причудливо сочетались с воздушными бальными туалетами. Те же дамы шили платья попроще у своих доморощенных портних. Но открывая лица перед мужчинами своего круга и европейцами на балах, дамы все-таки не решались показываться людям нецивилизованным — портным. Когда портной приходил в гарем на прикидку, заказчица стояла за занавеской. Прислужница надевала на нее недошитое платье, а портной ощупывал, хорошо ли оно сидит, где надо ушить, где выпустить, и все через занавеску. Т. о. портной не видел лица своей заказчицы, но ее телосложение не имело для него тайн.

Сама Лариса Рейснер была очень красива. Нежное тонкое лицо, невинные глаза, шоколадные волосы, уложенные на голове косой а la Gretchen, — настоящая мадонна. И очень странно было сочетание этого ангельски невинного лица и нежного голоса с речами резкими, остроумными и порой совсем непристойными. Я видела ее в обществе и говорила с нею только раз, но и этого было достаточно, чтобы хорошо ее запомнить. В юности она, кажется, была влюблена в Гумилева, который очень огорчил ее: он подорвал ее веру в свои силы, говоря, что она не может быть писательницей (однако дальнейшее показало, что она снова обрела эту веру). Затем она была замужем за Раскольниковым, который ее чуть ли не бил. Потом за Радеком. Потом умерла совсем молодой, лет тридцати. Заболела брюшным тифом одновременно с матерью и братом, и хотя у них болезнь протекала тяжелее, они выздоровели, а она умерла, потому, как тогда говорили, что не хотела выздороветь [с. 109—111].

Я переживаю 3-ю войну. Первая, японская, прошла почти незаметно. Когда она началась, мне не было еще 8 лет. Помню, мы с родителями в это время были в Москве. Мы жили в Лоскутной гостинице, в номере с темно-красной мебелью и темно-красными стенами. Пришел знакомый и сказал об объявлении войны с Японией. Потом мы уехали в деревню и

жили совершенно так же, как всегда. Взрослые, конечно, говорили о войне, но на меня это не производило большого впечатления. Лучше запомнились рисунки и фото в «Ниве», которую я всегда тщательно рассматривала, когда она приходила: портреты офицеров и сестер, гибель кораблей при Цусиме, Порт-Артур и т. п. Но в общем эта война прошла для меня бесследно.

Вторая война, т. н. «империалистическая», началась, когда мне исполнилось 18 лет. Мы были в деревне. Помню, мы гуляли где-то около Грядни — Дора, Маня и я. Возвращались по лугу. Видим, по дороге из Лунёва мчится кто-то верхом с горы. Мы остановили всадника — то был кто-то из наших войновских крестьян, — и он сказал, что объявлена мобилизация. Нас это как громом ударило. В Войновскую глушь газеты и вообще новости приходили раза 2 в неделю, и мы ни о чем таком не подозревали. Эта война очень медленно, но все же затронула меня. Тяжело было слышать вопли женщин на деревне, провожавших призванных. Волнения были в какой-то период, уже не в первый год войны, — когда почему-то хотели призвать папу. Это обошлось, т. к. на комиссии в Орле он был признан негодным. Я читала газеты. Слышала разговоры и принимала в них участие. Родственник — Боря Соколов, юнкер, был произведен в офицеры и убит в первом же бою. Многие подруги и знакомые пошли в сестры, уже в 15 году в усадьбе стали работать пленные австрийцы, а в 16-м даже в Москве начались небольшие затруднения с продуктами. В общем, война давала себя чувствовать в очень многом, но меня лично она затрагивала мало. В сестры я идти не хотела, ни в каких других мероприятиях также не принимала участия. Я была индивидуалисткой и считала, что меня война не касается. Я была равнодушна к вестям с фронта и не читала военных рассказов.

Теперь, в возрасте 49 лет, я снова переживаю 3-ю войну, и теперь она вплотную коснулась меня. И дело не только в том, что на Москву летят бомбы и что я или мои близкие могут умереть каждый день. Дело в жизни или смерти Советского государства, дело в том, быть ли русским рабами немцев, дело в борьбе с темной силой, которая в безумии своем хочет вернуть историю назад, я даже не скажу к средневековью, [в котором было много прогрессивного, что бы о нем ни говорили], а к чему-то, чему даже нет имени, т. к. в истории не было подобных прецедентов. Это уже совсем не то, что те войны, и отношение иное, совершенно иное [с. 122—125].